



## Публицистика

**ОЛЬГА МУСАТОВА**

журналист, исследователь отечественной  
и зарубежной мемориальной культуры



### **СТАРИЦА ПЕЛАГЕЯ, ХУДОЖНИК ПОЛИКАРП, ХОЗЯИН ВАВИЛА — семейские\* в зеркале времени**

«В поездке по Забайкалью я встречал селения, где чувствовал себя зрителем, попавшим за кулисы театра во время постановки спектакля из русской жизни XVII—XVIII веков. Мужчины с бородами до пояса в шелковистых шароварах и косоворотках, подпоясанных кушаком. Женщины в ярких сарафанах с атласными нашивками по подолу, а на голове украшенные бисером кички, расшитые золотом и серебром малиновые кокошники,

---

\* В современных светских словарях слово *семейские* трактуется следующим образом — этнографическая группа русских в Забайкалье (Республика Бурятия), потомки русских старообрядцев, переселившихся в результате неприятия никоновских реформ в Церкви в XVII—начале XVIII веков в пределы Польши (в Стародубье и Ветку). После присоединения этих областей к России (вторая половина XVIII века) значительная часть старообрядцев была выселена в Сибирь. В Забайкалье они приезжали большими семьями. Отсюда и название — семейские.

По версии сибирского исследователя А. М. Селищева, это название указывает на местность, где прожигали будущие «семейские» — на р. Семи (Сейму), притоку р. Десны, впадающей в Днепр.

а поверх еще шали, перекрученные впереди особым узлом и закрепленные на затылке...», — писал Леонид Шинкарев, корреспондент газеты «Известия», в 1974 году издавший книгу «Сибирь. Откуда она пошла и куда идет». Он не был сибиряком, не собирался задерживаться в краях, отдаленных от столицы, но с ним произошло то же самое, что происходило со всеми, попадающими в Сибирь: «...буквально все вокруг казалось укрупненным, усиленным, гипербололизированным...». Не случайно и его первое впечатление от встречи со старообрядцами Забайкалья — кулисы театра безвозвратно ушедшей эпохи. Они не искал другого, время еще не наступило, да и можно ли было тогда найти живые отголоски «бунтошного» века? На мой нынешний взгляд, нет. Но тогда, сдав последний экзамен государственной комиссии Иркутского университета, в числе которой был и Леонид Шинкарев, получив диплом журналиста и упомянутую выше книжку с автографом добрыми пожеланиями автора, почти сразу же и принялась искать свидетельства древнего благочестия. Или хотя бы свидетелей тех, кто еще знает духовный плач, сложенный в память об утраченных устоях, обычаях, да и подчас самой веры «Кому повем печаль свою?»:

*Правда пропала.  
Истина охрипла.  
Совесть хромает.  
Помощь оглохла.  
Честность умерла с голоду.  
Искренность убита.  
Труд питается милостыней.  
Ум-разум на каторжной работе.  
Терпение остается одно, да и то скоро лопнет.*

Немало поколесив по Забайкалью, предприняв наивные и обреченные на провал попытки найти исчезнувшие в Гусиноозерске старообрядческие летописи, перерыв позднее с этой целью бурятский республиканский архив, с совершенно неожиданной для себя самой горечью и грустью поняла, что многие исторические процессы давно и окончательно завершены. А если где и сохранилось потаенное стояние за древний обряд, то это лишь отголоски безвозвратного прошлого. В семидесятые-восемидесятые годы такие люди мне не встретились, хотя семейскими, то есть старообрядцами называла себя большая часть русского населения Забайкалья. Их села выглядели крепкими и благополучными. На колхозных и совхозных досках почета не хватало места для портретов трудолюбивых семейских. Председателями, директорами, агрономами, инженерами и даже — о, нелепица! — секретарями парткомов, комсомольскими вождями тех же хозяйств были тоже семейские. Взору предстала не просто жизнь, а воплощенная в реальность извечная мечта крестьянина о крепком хозяйстве, о сытом и безбедном существовании, о доме, который полная чаша. Но когда эти много трудившиеся люди, заслужившие почет и уважение новой власти, вынимали из сундуков свои старинные наряды, разве ж могли они не вспоминать прежнюю жизнь и трехсотлетнюю историю?

Старообрядцы и наравне с ними сектанты (духоборы, к примеру) еще на заре советской власти были признаны ею социально близкими, как «пострадавшие от царизма». Секулярное советское государство, упирая именно на это, будто не замечало, что стало предметом гонений, но четко выделило корень своих интересов в дружбе со старообрядцами — их умении жить общинами, что легко заменялось вожделенным для большевиков словом — коммуна, а позднее колхозами и совхозами. Новая власть играла на природной приверженности к земле и хозяйству, использовала умение и желание хорошо работать на земле. Основная масса семейских охотно вовлеклась в «свободную» крестьянскую жизнь, постепенно преобразовав внутренние религиозные обряды во внешние празднества, которые вполне вписались в течение новой советской жизни. Сарафаны, кички, бусы, гармошки — это, пожалуйста, это сколько хочешь, а вот храмы и молитвенные дома — пережиток, сначала терпимый властями, а вскоре уже и откровенно гонимый.

Наиболее упорные последователи древнего благочестия (часовенные — беспоповцы) ушли в глубокое подполье, надежно скрыли свою духовную жизнь, что послужило в какой-то мере всплеску религиозного сознания в постперестроечные годы. Возрождается ли старообрядческая духовность — предмет другого разговора, но наивно было бы предполагать, что наступил период ренессанса древнего православия, когда в Забайкалье выросло уже несколько поколений, воспринимających веру и традиции своих далеких предков милой сердцу стариной, не более. Внуки-правнуки, прямые наследники этой старины бережно хранят кички-сарафаны-запоны, даже умеют еще ткать-вязать, петь-плясать, расписывать, как пасхальные яички, фасады своих домов и, конечно, по-прежнему славятся умением пахать-сеять и содержать крепкие на зависть хозяйства. Дома их красивые, чистые, крепкие, расписные ставнями окон и цветущим палисадом на улицу, с высокой оградой и художественными резными воротами царствуют на фоне неказистых бурятских хибар. Мужчины, скажем так, умеренно привержены к алкоголю, женщины в основном многозаботливы и домовиты, дети послушны (в сравнении, конечно), но на фоне всего этого бытового счастья чего-то просит душа и чего-то ей не хватает. Чего? Уже и не так просто определить.

Однажды в довольно укромном семейском селе хоронили старицу, которая за неимением духовного руководителя мужеска пола сама взялась держать старый уклад. Ее звали Пелагеей, познакомила нас внучка, которая знала, что я могу читать на церковно-славянском, бабушка подумала, а вдруг «наша». Зорко поглядывая на меня, она выложила первую книгу, исписанную полууставом (тип начертания букв), ну-ка, прочти, «ученая», а мы, «серые», поглядим. Ее глаза потеплели, когда я справилась с трудной задачей. «Откуда умеешь? Нешто в ваших институтах тому учат? Не поверю». С той поры бабка Пелагея через внучку изредка звала меня приехать, и показывала еще какую-нибудь книгу из своего сундука. «Что делать буду, скоро умирать, кому все это оставлю?» — горевала она, а сама опять зорко поглядывала на меня, что скажу. И явственно слышался мне тот самый духовный плач, но

что я могла ей сказать? Просить не продавать заезжим скупщикам старины свои прекровенные книги, так она и без меня это знала. «Может, ты их после моей смерти хоть в музей отвезешь?» — спросила она однажды. «Там им тоже смерть. Где все ваши, им и передайте». — «Никого не осталось из молитвенных людей, вишь, какие времена...»

Собственно, Пелагею и ее товарок ни один уставщик не признал бы особо молитвенными и, несмотря на их возраст, поставил бы на триста поклонов в день. Книжки эти ими уже почти не разгибались, день-деньской старухи «кланялись» на огородах и возили к тракту или на ближайший рынок выращенный урожай, а на вырученные деньги поднимали внучек: на свадьбу надо, в институт надо. И все — надо, надо, надо... «Мы, семейские, жадные до работы, но и Богу что-то надо, по старой памяти, кто что может, то и делает. Читать по книгам мы, старухи, еще умеем, а уж из молодых не всякий. Не хотят, не нужно им...»

В день похорон про книги уже не говорили. И сундука на прежнем месте не оказалось, лишь темный квадрат невыгоревшей краски на полу напоминал, что еще недавно он тут стоял. Товарки бабки Пелагеи смущенно отводили от этого пятна глаза, одна, не выдержав, кинула туда ряднушку (самотканый половичок). Посидели, поговорили, повспоминали, повздыхали, спели диковинным распевом «Богородице, Дево, радѣйся...».

— А ты у нас в церкви была ли чо? — вдруг спросила одна из них. На нее зашикали, замахали руками, но куда там остановить: «Пелагея одобрила бы!» и повела меня во двор: «Смотри!» И я увидела: весь внутренний дворик, обнесенный высоченной оградой, был расписан по доскам... евангельскими ли, историческими ли сюжетами, иконами ли. Незамысловато и трогательно, дрожащими кистями, масляными магазинными бытовыми красками («мы ей понемножки отливали, когда у кого новая краска появлялась»). «Водяными и газовыми», т.е. разбавленными почти обесцвеченными белилами писались ангелы. Богородица в сиреневых (как багульник) и розовых (как небо на закате) одеждах, с голубым (как вода озера) покровом в руках, какой-то старец в кандалах и шапке, отороченной соболем (написанным охрой), видимо, страдалец Аввакум с чашей. Возле него семейские женщины в цветастых шалях («это мы с Пелагеей, причащаемся», — пояснили старухи). И над всеми Бог Саваоф с яростно отверстыми очами, и серафический рой младенческих душ, и просто голубое-преголубое небо — вот такой «иконостас» сотворила старица Пелагея. Но странная и неожиданная моя подружка, готовая отдать за просто так бесценные свои книги, ни разу словом о нем не обмолвилась. «Вот тут и молились, тут и будем молиться, хоть нас и ругали бывалочи...»

Глядя на этот неожиданно открывшийся семейский «скит», да еще начитавшись Мельникова-Печерского, я думала, почему мы ни разу не говорили с Пелагеей о том, что развело старый и новый обряд, и что она знала об этом? Потом сколько раз я заходила в семейские дома, где передний угол еще теплился лампадкой и темнели старые доски икон, но так нигде не зашел разговор о старой вере, не встретила ни церкви, ни молитвенного дома. Зато как намозолили глаза разудалые бабищи в пестряди из сундуков,

в «антарях» и с серьгами «трипятушками», для которых они вырывали самые красивые перья у селезня; лихо пляшущие, несмотря на свои шесть-десять годов и шесть-семь пудов веса; ощерившиеся в непроходящей улыбке, сытые и гладкие что заласканные коты мужики с гармошками, ложками, балалайками, бесстыдно горлающие скабрзные частушки...

В другом месте прямо на железных воротах гаража была написана сикстинская мадонна. Хозяин из семейских по имени Вавила (но для внешних Виктор) объяснил мне, что так видится ему истинный образ Божией Матери, что это совпадает с его внутренним состоянием: «В прежнюю жизнь у нас в доме другие иконы были, отец, будь он живой, так палкой по спиняке съездил бы за такую живопись». — «А зачем же написал?» — «Душа просит».

Чего она на самом деле просит, выяснить не удалось, хозяин уезжал на самодельном то ли тракторе, то ли автомобиле сено косить: кроме гаража с расписанными воротами был еще сарай, где квартировали три коровы, бычок, пяток свиней, десятки бурунов и разная другая живность. А далее тридцать соток огорода, ближе к дому сад — смородина, малина, крыжовник, стелющиеся и райские яблоньки, пчелиные ульи, мама дорогая, да откуда ж время для живописи?! «Мы, семейские, люди хваткие, все сможем, только нам не мешай»...

Однако, в этой погоне за земным процветанием старообрядцам никогда и никто не мешал. Начиная с их первых поселений в Польше, куда трудолюбивых и вольнолюбивых русских крестьян даже зазывали польские паны, соблазняя даровым земельным наделом, в Стародубье, на Ветке и потом по всему ссыльному пути, и на местах сибирских поселений — всюду и во все времена путешественники, чиновники, различные надсмотрщики и проверяющие высказывались с одинаковым восторгом о богатых старообрядческих хозяйствах. «Они камень сделали плодородным», — писал губернатор Иркутской губернии Н. И. Трескин (1806 — 1819 гг.). Первопричиной столь успешного ведения крестьянского хозяйства была привычка ощущать себя вольным хозяином и лично свободным во владении земель, которой они воспели настоящий гимн, записанный в 1847 году собирателем забайкальского фольклора Л. Е. Элиасовым: «Земле мы поклоняемся, земле хвалу поем, землю слезами мочим, земля нам поддержка во всем, только она нас держит, только она нас кормит, детей наших растит. От земли мы идем, к земле придем. Ты одна наша надежда во всей жизни. Хвала тебе, труд! Ты нас держишь в жизни и кормишь, в тебе наше утешение от горя и страданий, ты погибель для всех, кто тебя не любит, ты радость для всех, кто с тобой дружит». Это крестьянское право свободного владения землей отстаивалось с тем же фанатизмом (если даже не с большим), с каким восставали старообрядцы против новин в Церкви, «книжной sprawy», отмены древних форм богопочитания, введения троеперстия и многоголосного пения, одним словом, всего того, что «портило веру», за что на протяжении трех столетий им пришлось пережить почти непрекращающиеся жестокие гонения.

Стояние за землю и веру или за веру и землю имело разрушительный изъян в самом двуединстве. Одно дело питаться от земли трудом рук своих,

но сколько раз ловила материальная ловушка заблудшую душу, пытавшуюся потрафить и Богу и мамоне. Сколько гонений навлекли на себя старообрядцы от властей вовсе и не за веру, а, к примеру, по подозрению в укрывании Емельяна Пугачева, который будто бы получил у них благословение на самозванство. Исследователи говорят, что этот факт уже нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Пусть так. Но вот то, что другой известнейший старообрядец Савва Морозов субсидировал заключительный этап русской катастрофы — революцию, принесшую всему русскому народу (и старообрядцам в том числе, попавшим под новый и жесточайший виток репрессий) неисчислимые страдания, уже хрестоматийный факт. Если это была месть русским царям, которых они до сего дня считают гонителями веры, то где сама вера? Революция уничтожила гонителей древнего благочестия, но несла и веру, и исповедников...

Прибывшие в Забайкалье огромными своими семьями (иногда и до двухсот человек доходило) семейские остались здесь без священников и церквей. И только «великое усердие верить и жить» заставляло их годами, не убоясь жестоких репрессий, просить, требовать своего права на религиозный акт. Прошло время, дрогнули жестокосердые гонители. В первой половине XIX века во всех забайкальских семейских селах появились свои храмы, часовни и молельные дома. Однако задолго до этого отрадного явления раздробленность и обособленность, отрицание священства (считалось, что со времен патриарха Никона православное священство перевелось) породили массу толков и согласий, сомнительных догм, к примеру, таких: «каждый христианин есть священник», спасительно лишь «вечное странство». Николай Николаевич Покровский, современный сибирский историк, исследователь старообрядчества пишет: «От иереев вообще отказались. Исчезла главная часть литургии с пресуществлением хлеба и вина в плоть и кровь Христову. Часовенные, как и многие другие согласия староверия, стали использовать церковный чин причащения преждеосвященными дарами..., но его пришлось изменить самым коренным образом, чтобы причащающийся мог принимать эти дары не из рук священника, а из своих собственных». Исправить такое положение могло бы введенное официально в 1800 году единоверие, которое рассматривалось как промежуточное звено между старым и новым обрядом. Но спущенное «сверху», оно даже самими иерархами официальной Церкви виделось и принималось лишь временным послаблением на пути к полной ликвидации старого обряда и потому особого успеха не имело. Старообрядцы желали законной иерархии и полного покаяния «никониян». Добровольного присоединения не произошло, и власти возобновили гонения. Ссылки и тюрьмы стали вновь уделом старообрядческого священства. Но битые-перебитые подвижники древнего благочестия оптимистично заявляли: «Котора вера гонима, та и права», а в советские времена часть их приняла решение уходить в Китай, потому что «там земля непросвещенная, туда антихрист не пойдет». Великое горение, но погасло, исчезло, будто и не было! Да и можно ли было его сохранить, если учесть еще и то, что за многие годы гонений и попыток

восстановления религиозной жизни семейские больше уделяли внимания внешней обрядности, нежели догматике.

В 70-е годы XX века старообрядческое Забайкалье потому, видимо, и представляло как явление русской истории, чудом сохранившаяся группа русского этноса, «живой остаток древней русской культуры» (Д. С. Лихачев), но лишенное внешних проявлений какой бы то ни было религиозности. Спору нет, они сохранили бытовой уклад, национальный дух и национальное самосознание, одежду, привычки, но все храмы в Бурятии были запечатаны, а моленные дома изведены. Искать скрывшихся в глухих расселинах Хамар-Дабана и Саяна приверженцев древнего благочестия было занятием малоуспешным, особенно для человека постороннего. Но и своим это плохо удавалось, потому, как в их среде остро стоял вопрос, кто «свой». Уместно поставить под сомнение и другое: искали ли они веры в благополучные семидесятые?

«Я семейскою была и семейской буду, свой семейский сарафан спроду не забуду», — тяжеломерно выплясывая, пел семейский хор, называемый не как-то там, а «Воскресение»...

В 2007 году Забайкалье впервые принимало особых гостей — съезжались старообрядцы со всего света, в основном русские. В программе фестиваля, форума — даже не знаю, как и назвать столь светское мероприятие — было много разгульного и разудалого веселья, внешнего праздника, спортивных состязаний, театрализованных выступлений, демонстрации гостям нарядов, угощения. В общем, все как бывало в советские времена на бурятских праздниках Сурхарбан. Светская пресса ликовала. Журнал «Путь Аввакума», издание, специально подготовленное к встрече старообрядцев, ничем от прочей светской прессы не отличался и так же, как и все, назвал все это непонятное мероприятие — возрождением древнего благочестия. И лишь один журналист Михаил Максимов вдруг взял да и поставил в конце статьи «P.S.» и чистым голосом, будто с другого листа, прокричал заветное — «а король-то голый!». *«Напоследок, хотелось бы поразмышлять о том, как ко всему этому мог бы отнестись протопоп Аввакум, и те староверы, которые ступили на Забайкальскую землю через сто лет после него. Здесь конечно, спору нет, были бы осуждены и совершенно бредовый парад на стадионе, на который подобно советским временам силой загнали предприятия, школы, институты, которые, как вы сами понимаете, никакого отношения к старообрядцам не имеют. Это был, как бы отголосок советской эпохи — “Партия сказала надо — магазин ответил, есть!” (и пришел на парад). Но зачем были нужны трубы, толпы народа в футболках с логотипами мясокомбината, железнодорожного техникума и т. д. и т. п.? Не были бы возрадованы и наши предки конкурсами баянистов-частушечников, которые, как мы уже отмечали, никакого отношения к культуре семейских не имеют. Хотелось бы отдельно сказать и о театрализованном представлении в этнографическом музее — сие было верхом идиотизма, попытаться инсценировать житие протопопа Аввакума, сделать из жизни полной лишений, стра-*

*даний, борьбы за правду – пародию безвкусного спектакля. Пусть все это останется на совести организаторов, которые не смогли отделить зерна от плевел и смешали все в одну кучу. К сожалению, вера в Бурятии только возрождается. И нигде каток безбожия не прошелся так, как здесь. До революции в Забайкалье было около 90 только старообрядческих храмов, а к девяностым годам двадцатого века – остался всего один никонианский. Все священство, весь клир были уничтожены. Сейчас же, в эпоху индивидуализма, глобализма и разврата люди вообще заблудились. И не понимают, что есть свет, а что тьма. И эти недоразумения, будем надеяться, были не от желания навредить или опозилить, а просто от человеческой необразованности, рожденной обществом, в котором мы с вами живем».*

Но одну героиню, совпадающую с аввакумовыми предвидениями о будущем, журнал хотя и неосознанно, а все-таки обнаружил — это баба Таня из Бичуры — Татьяна Фокеевна Иванова, отдавшая еще в 1986 году свой земельный участок под строительство древлеправославного храма...

Ближе к началу XX века именно в Бичуре (кстати, название татарское и означает то же, что у русских кикимора) процветал один из толков, получивший название «самочинников». В него входило несколько десятков семей, отказавшихся внести деньги на строительство церкви. Вскоре они самочинно возвели молельный дом, выбрали своего уставщика и стали совершать обряды как беспоповцы. Главой и основателем этого толка был Тимофей Тюрюханов, потомки которого до сих пор живут в Бичуре. После смерти Тимофея «самочинников» возглавила его жена Авдотья. И почти десять лет продолжалось это религиозное радение, которое народ прозвал «дунькиной верой». А вскоре подоспели времена атеистического «кащева царства» и могучим ураганом смели все: четыре единоверческих храма, молельню часовенных и остатки «дунькиной веры». Первой этот опустившийся на Бичуру морок прорывает славная баба Таня. Но пока только она, несколько очарованных древним обрядом энтузиастов интеллектуалов, паратройка беглых из Московской патриархии попов на все Забайкалье — вот и все возрождение. Так что для аввакумовых пророчеств — «из пепла, аки из золы Феникса, израстут миллионы верующих» — еще, видимо, не время.

Основная часть населения Бичуры, судя по известнейшему сайту учителя местной школы Д. А. Андропова, по-прежнему устремлено в светлое будущее, которое представляется в русле цивилизованных проектов, определяющих жизнь категориями научно-технического прогресса, комфорта, здоровья и благополучия. В этот процесс гораздо увереннее вписывается не баба Таня, а другой старообрядец — Поликарп Ермолаевич Судомойкин, которого вся общественность с гордостью величает «бичурским пирсомани». По случаю праздника — встречи старообрядцев мира — семейский хор «Воскресение» пел и плясал прямо на участке Поликарпа, так как супруга его Евдокия — запевала хора. Картины Поликарпа, художника-самоучки, баба Таня смотреть никогда не отважится. Да и будь жив в Бичуре хоть какой-то уставщик, то анафемы Поликарпу не избежать — ведь на его полотнах обнаженные женщины...



А времена изменились, и у художника теперь есть свобода самовыражения, — пишет современный корреспондент, посетивший дом бичурского художника, и находит, что в его творчестве «бесконфликтно разрешаются вопросы сосуществования духа и плоти». Основанием для последнего вывода послужило, видимо, то, что картины «ню» и иконы размещены у Поликарпа в двух смежных комнатах. Его женщины на многочисленных полотнах пленили не одного заезжего гостя. Особенно он полюбился москвичам, которые, возвратившись в столицу, с восторгом рассказали жаждающим эстетического наслаждения ценителям этакого-всякого о мужике-старообрядце. Дескать, вот он пахал землю, рожал детей, а выйдя на пенсию, взял в руки кисти и стал писать одну за другой картины, крепко засевшие в голове еще даже и с детства, когда бегал с мальчишками подсматривать за купающимися после трудной утренней работы доярками. Будь это другой мужик, не отягощенный определением «старообрядец», то, возможно бы, и не узрели творчества, как знать.

Конечно, в начале Поликарп писал иконы, как «положено верующему человеку». Какие иконы он писал прежде, уже не узнать. Нынешние, которые остались в доме, иконами назвать можно, как и доски старицы Пелагеи. Но все же Пелагея писала со всей болью и тоской духовного одиночества, будто старалась укрыть и сохранить последние искорки затухающего могоучего некогда религиозного огня. А Поликарп? Жена Евдокия Нестеровна говорит: его будто прорвало... Нет, она не против, хотя сетует, как дороги нынче холстины, «что твой бархат», дороги краски, и что ей иногда хочется сказать здоровому мужику — «чо расселся, когда скотина во дворе голодная орет!», но — терпит. Ради чего? Будто бы ради искусства? Московские ценители сказали ей (да она и сама знала), что у всех женщин на полотнах Поликарпа — ее лицо. На выставке мужниных полотен в Москве она привлекала не меньшее внимание, чем картины мужа, живой экспонат, расхаживала по-хозяйски в многоцветном сарафане, бусах, кичке и прочем диковинном прикиде. Достаточно ли этого? Смотря для чего...

Долго и внимательно смотрела я полотна Поликарпа (вообще-то в Бичуре его зовут Павел) и пыталась понять, когда и как произошло преодоление нравственных правил, установленных освященными соборами, скитскими отцами-черноризцами, суровыми уставщиками?

Соборные постановления содержат многие и разнообразные запреты: «На браках вином не упиваться, понеже нерадостен наш живот, но в гонениях наша истинная вера», «Конских рысканий не творить», «Кулачный бой запрещать», «Песни бесовские и стихи не петь, не играти, и не глумиться христианом всякими смехотворными играми. Песни и стихи кто будет петь, таковых отлучать», «Срамных картин в дом не вносить», «Браду и ус не постригать». Сам протопоп Аввакум был неутомим и великолепен в борьбе со всяким нравственным злом, ломал бубны и «хари» (скоморошьи маски), смело вступал в единоборство с медведями скоморохов, причем одного «ушиб», а другого прогнал в поле (Н. Н. Покровский). Все это вполне сочеталось с эсхатологической настроенностью жизни в «последние времена»,

в которые уместно только каяться. Множество запретов было и на другое особенно душепагубное дьявольское изобретение — деньги. Любую пищу (башна), купленную за деньги, следовало считать оскверненной. «Лакомства на торжище не покупать», сюда входили пряники, конфеты, сахар, хлеб тоже, но он разрешался — «разве крайняя нужды ради». Если же кто не удержался и приобрел что-либо, то продукт подвергался «исправлению» — «спасовой водой» или же одним крестным знаменем. Академик Н. Н. Покровский во время экспедиции на Алтай в 1967 году наблюдал у часовенных отголосок одного старого, из XVIII века идущего запрета: не выращивать картофель из клубня, а только из семян.

Но все это для сегодняшних забайкальских семейских жителей лишь история, забытые предания, не являющиеся руководством к исполнению. Коренным образом изменился и сам старообрядец: он может быть человеком партийным, военным, депутатом, писателем, да кем угодно, художником, в конце концов, кто ж ему может это запретить, если есть на то его свободная воля. Древним обрядом заинтересовалась, к добру ли худу, гуманитарная интеллигенция, люди именитые, остепененные. Не имея никаких корневых родственных связей с древним благочестием, они входят в него ради спасения души, отправления самого что ни на есть правильного, по их мнению, религиозного акта. А «бичурский пирсmani», знающий несколько поколений своих старообрядческих дедов-прадедов, будто и не замечает, что давно уже не стало в его жизни веры.

Исследователи старообрядчества не раз отмечали, что гонения на староверов сыграли и неожиданную роль в формировании их характеров. Н. И. Костомаров, к примеру, писал, что «раскол был крупным явлением умственного прогресса... расшевелил спавший мозг русского человека... русский мужик в расколе получил своего рода образование, выработал своего рода культуру, охотнее учился грамоте, кругозор его расширялся». Современник Ф. Ф. Болонев уточняет характеристику: «Семейский крестьянин — сугубый практик, реалист, — ко всему подходит и оценивает все явления и запреты, от кого бы они ни исходили, с хозяйственной, практической точки зрения». Взвешенная пословица семейских гласит: «Человек без характера, что хлеб без соли», неумеренная дерзит: «Можем и Бога научить, как хлеб родить». На таком фундаменте почему не сформироваться Поликарпу Судомойкину вольным художником. Что раньше было, то безвозвратно прошло, износилась прежняя одежда.

Оставившие в веках и на длинных скитальческих дорогах свою негибаемую веру, свой огненный дух, прочно осевшие на земле, неимоверным трудом достигшие желаемого земного благополучия, что и кто они теперь? Хотя бы он — Поликарп Судомойкин? Можно предположить, что его художество — попытка замещения давно утраченного религиозного акта, что называется «душа просит». А исследователи старообрядчества утверждают: ничего подобного, у семейских это в крови — рисовать, украшать свои дома, писать целые картины на стенах и потолках, на крышках сундуков, на ставнях окон. Такое у них представление о красоте, и что оно тесно связано

с понятием чистоты жилища внутри и снаружи. Хозяйка, умеющая украсить свой дом росписью, пользовалась особым почетом у семейских, роспись жилища простая домашняя обязанность, а никак не высокое искусство.

Но доски старицы Пелагеи, сикстинская мадонна Вавилы, иконы Поликарпа — не обязанность, нет, это, конечно, своего рода попытка внутренней молитвы, которой когда-то была обучена душа. А голые сибирские колхозные мадонны — явление другого рода? Нет, упирается Поликарп, «это девчата военной поры, их красота и молодость остались невоображаемыми и нерастраченными, потому естественными и чистыми, как Бог дал». Вот его девушки отдыхают после тайного крещения в таежной реке, у купели они оказались уже возросшими — «церкви не было, священника не было, иконы сожжены». На другой картине — «Ева (та же девственная красота) на рогах у лося. Он несет ее по сибирскому лесу мимо Байкала, в руках у нее виноград, символ изобилия. Она готовится к встрече с Адамом, но встретит ли его?». И все это от Бога, уверяет Поликарп, это святая память.

Вот так может изменить воображение, подсмотренная однажды картина купания девушек. И что-то еще, отложившееся в душе, но уже трудно распознаваемое. Тоска по утраченному? Да какая тоска и что утрачено? Поликарп еще может рассказать, что когда-то **за веру** его прадеды бежали в Польшу, позднее из Польши пошли в Сибирь, не побоялись начать жизнь заново. Родители Поликарпа воспитали семерых сыновей и две дочки. У Поликарпа пятеро детей (последнего супруга Евдокия родила в сорок два года) и четырнадцать внуков. Хозяйство Судомойкиных — приходи любоваться: свой дом из самого худого подняли, мебель золотыми руками хозяина сделана, всем четырем сыновьям тоже дома помогли построить, да еще один рядом со своим для дочки возвели в ожидании ее возвращения в родное село. Во дворе, как и положено — коровы, буруны, свиньи, куры, дальше — огород, сад, покос... Все как у людей. Про веру ни слова. Только стоящие в другой комнате иконы письма Поликарпа того времени, когда его еще не называли «бичурским пиросмани». Но в Москву его приглашают не с иконами...

Пожалуй, и достаточно о картинах Поликарпа и моем забайкальском путешествии в то время, где должна была, как в зеркале, отобразиться одна история, но отобразилась другая. Хотя, как сказать...